

БЕЛОРУССКИЙ DÉTOURNEMENT, ИЛИ ИСКУССТВО ОБХОДНОГО МАНЕВРА КАК ПОЛИТИКА¹

Альмира Усманова

Политика в эпоху явленности своего отсутствия

Мартовские события вокруг президентских выборов 2006 года заставили нас поверить в возможность того, о существовании чего, казалось, мы давно уже забыли: я имею в виду *политику*². Многие из тех, кто ранее дистанцировался (преднамеренно или неосознанно) всеми возможными способами от любых форм политической деятельности, вдруг оказались в самой гуще уличных событий или же обнаружили в себе острую потребность высказаться публично (в любой форме). Симптоматично, что политическая активность, проявленная различными социальными группами во время проведения уличных манифестаций, повлекла за собой (или сопровождалась?) необычайную активизацию медийного пространства (виртуального, в первую очередь) и, что не может не радовать, стимулировала критическую рефлексию в отношении политической сферы и белорусской действительности. И то, и другое – как сами события, так и реакция на них – заслуживают самого пристального внимания аналитиков и исследователей, поскольку без адекватного понимания произошедшего невозможно (или, как минимум, проблематично) определение перспектив дальнейшей политической борьбы. Не претендуя на «последнее слово» в осмыслении белорусской политической ситуации, я хотела бы в рамках данной статьи остановиться на некоторых проблемах и вопросах, которые, на мой взгляд, не были должным образом осмыслены или проговорены. Главным образом, речь пойдет о политической эффективности различных форм культурного протеста в условиях белорусской действительности.

Начну с того, что белорусская политическая ситуация для стороннего наблюдателя выглядит хоть и диковинной, но все же не уникальной: в том, что нынешний президент, вопреки всему, остается на своем месте вот уже столько лет, а политический курс – такой, какой он есть, виноваты не только пресловутая инертность белорусов, нерешительность Евросоюза или же корыстные интересы России.³ Пассивность и безразличие большинства по отношению к политической сфере, где власть принадлежит самоизолировавшемуся и уже никого не представляющему меньшинству, являются характерными чертами *кризиса политики*, который мы сегодня можем наблюдать в самых разных странах. Тот факт, что о политике все время говорят

(в связи с выборами президента или парламента, вооруженными конфликтами и военными угрозами, решениями или сменой кабинета министров, государственными визитами и «саммитами» на самом высшем уровне, декларациями и политическими скандалами, и так далее, и тому подобное), еще не означает, что мы имеем дело с политикой, а не с ее симулякрот. Внешне разнообразные формы политического участия каждого индивида в жизни общества на поверку оказываются не более чем хорошо срежиссированным воспроизводством одних и тех же ритуальных действий. Французский философ Аллен Бадью уверен, что «политика вступила в эпоху явленности своего отсутствия» и что мы имеем дело с давно «заброшенным полем деятельности», где, разумеется, производятся какие-то знаки, но «однообразие этих знаков таково, что связать себя с ними способен лишь некий автоматический субъект, очищенный от желаний, как от хлама»⁴.

Тезис об отсутствии политики может быть истолкован по-разному: для одних – это в первую очередь кризис политической *репрезентации*; для других – это отсутствие политических *событий*; для третьих – политическая безучастность масс, их неспособность осознать *коллективное «мы»* и сформулировать свои требования. Впрочем, все эти толкования не противоречат, а, скорее, взаимодополняют и поясняют друг друга: так, согласно Бадью, событие можно считать политическим, только «если материя этого события коллективна»⁵, то есть политика перестает быть фикцией, если ее «пробивает событие», но само политическое событие является «онтологически коллективным», обращенным ко всем и каждому. Жак Рансьер, в свою очередь, полагает, что политика имеет место быть лишь тогда, когда задействована «причастность непричастных (*la part des sans part*)» и учтены «в счет не идущие (*le compte des incomptés*)», что предполагает вовлеченность в политику «народа как политического субъекта в отличие от суммы частей населения»⁶. В то же время, спонтанная мобилизация масс (как это показал опыт Украины, Грузии, Киргизии) сама по себе не является решающим фактором в реанимации «политики», поскольку она не снимает вопроса о том, кто, кого и каким образом репрезентирует как в процессе борьбы за власть, так и после ее захвата.

В идеале (если попытаться представить себе, чем должна быть «политика») речь должна идти об учете мнений и интересов самых разных социальных групп в выработке государственных решений и о продуктивном взаимодействии всех участников политического процесса, при котором «низам» не безразлично, кто и как ими управляет, а «верхи» обязаны прислушиваться к мнению тех, кто делегировал их во власть, и, таким образом, эффективность управления, равно как и общественный консенсус обеспечиваются системой сдержек и противовесов на всех уровнях социального взаимодействия. В реальности же власть совершенно не заинтересована в «политике» и всячески стремится подавить ее проявления: поскольку, как пишет Жак Рансьер, в «политике» очень силен антигосударственный импульс, ведь «политика мешает хорошо управлять, спокойно управлять об-

ществом»⁷. Здесь кроется неустранимое противоречие — ведь по идее конечной целью политики как таковой является установление «хорошего государства», — которое как раз и препятствует реализации идеального сценария политической жизни общества.

Итак, государство не заинтересовано в политической активности масс и всячески симулирует политическую деятельность (способствуя распространению представления о политике как сфере производства решений «на самом высоком уровне»), в то время как массы, убаюканные разговорами о демократии и гражданском обществе и расслабившиеся от мысли, что заниматься политикой должны те, кому он, народ, передал полномочия говорить от его имени, остаются крайне апатичными в отношении политической жизни в целом и коллективным «мы» себя не ощущают, разве что в исключительных случаях, которые чаще всего отнюдь не связаны с нарушением конституционных прав или попранием свобод: выбор между колбасой и свободой неизменно решается в пользу колбасы. В этом плане трудно не согласиться с Михаилом Маяцким, который призывает не приписывать массам «врожденную демократичность»⁸, тем более что сегодня демократия все чаще ассоциируется у обывателей с правом выбора не столько в области политики, сколько в сфере потребления (коль скоро «подлинно демократические» страны — это страны с либеральной экономикой и, соответственно, с развитым рынком товаров и услуг). Такой «гражданин голосует, переключая телевизор и делая покупки»⁹.

В связи с этим уместно вспомнить, что для белорусов по-настоящему веским поводом для действительно массового (не сопоставимого с Чернобыльским шляхом или другими акциями оппозиции) протеста, случившегося несколько лет назад, стало гололетье Белтелерадиокомпании, не сумевшей обеспечить трансляцию матчей чемпионата мира по футболу. Чрезвычайную активность среднестатистический белорус проявляет и в азартных играх с государством, о чем свидетельствует масштаб реализации лотерейных билетов. В то же время политическая инертность белорусов уже стала притчей во языцех. За примерами далеко ходить не надо: недавний опрос, организованный радио «Свобода» на улицах Гродно, поставил в тупик не только интервьюеров, но и аналитиков. Журналисты пытались выяснить, как обыватели относятся к арестам лидеров оппозиции. Выяснилось, что многие вообще ничего не слышали об арестах А. Козулина и А. Милинкевича (не говоря уже об остальных), другие же достаточно откровенно заявляли, что им все равно или что все это совершенно неважно. Согласно же некоторым социологическим опросам, мартовские события оставили равнодушными около 79% населения (сюда входят и те, кого возмутили... действия оппозиции¹⁰); видимо, это и есть послушный электорат Лукашенко, который голосует не столько «ЗА» него, сколько за свое право «сидеть на печи», а в конечном итоге — за поощряемые властью экономическую безответственность и невмешательство в политику.

Зачастую рассуждения о кризисе политики ведут к тезису об исчерпанности демократии и наступлении эры постдемократии¹¹ — таком политическом правлении, при котором решения принимаются очень ограниченным кругом функционеров, роль «демоса» как политического актора сведена к минимуму (как правило, его присутствие на политической арене носит сугубо декоративный характер), а демократические ценности и принципы выполняют функцию риторического инструмента (или прикрытия) для реализации и легитимации совсем других целей. Не будет преувеличением сказать, что демократия превратилась в догму, критика которой может повлечь за собой упреки в симпатиях к фашизму. Неудивительно, что даже в странах развитой демократии в последнее время наблюдается обострение «напряжения между полицейской и демократической логикой»¹² (кстати, это замечание Жака Рансьера также лишает белорусскую ситуацию «тоталитарной» исключительности).

Далее, представление об исчерпанности демократии неразрывно связано с кризисом политической репрезентации, поскольку для современного человека демократия может быть только «представительной» (что имеет мало общего с исходным значением термина «демократия»), а о том, что репрезентативная демократия возникла сравнительно недавно (в начале XIX века) и что на самом деле «репрезентация не имеет внутренней связи с демократией»¹³, никто особенно и не говорит.

Кстати, было бы небезынтересно проанализировать, каким образом воплощается и трактуется идея репрезентативной демократии в Беларуси. С одной стороны, Лукашенко, ссылаясь на доведенную до абсурда цифру поддержавших на выборах избирателей, настаивает на том, что он — легитимный представитель всего народа, и обвиняет оппонентов в том, что они-то как раз никого не представляют; с другой — идея проведения всебелорусского народного собрания преподносилась в СМИ как возможность прямого диалога с народом, то есть как форма *прямой* демократии (как если бы в этом вече принимал участие весь народ, а не отдельные «выдвиженцы»). Словом, нынешняя белорусская власть или валяет дурака, чрезвычайно вольно обходясь с понятием репрезентативной демократии, или в самом деле не понимает, о чем говорит.

Вернемся к проблеме ситуативного сходства, или, точнее, тех глобальных тенденций в сфере политики, которые характерны и для Беларуси. Следующей типической чертой можно было бы считать *распад коллективных идентичностей*, что, в общем-то, логически связано с *кризисом политики*, ведь конститутивным признаком описанной выше модели политики является наличие действующего коллективного субъекта. В постсоветских обществах эта особенность имеет характер травматического отношения к любым формам коллективной самоорганизации и жизнедеятельности (это одна из причин, по которой левая идея в наших широтах вызывает стойкое неприятие) — от общечеловеческой и пионерского лагеря до забастовок и политических партий. Советский опыт принудительной «коллективизации», делающий границы между

приватным и публичным совершенно призрачными и превращающий человека в изгой, если тот сопротивляется навязываемой групповой идентичности, до сих пор воспринимается многими как самая изощренная форма насилия над индивидом. Между тем, как отмечает Этьен Балибар, «построение коллективных идентичностей всегда происходит насильственно или, во всяком случае, с принуждением; это процесс построения некоей идеологической гегемонии. Всем историческим обществам, где существовали государства, цивилизации, культурные нормы, знаком этот вид принуждения»¹⁴.

Характерно, что рабочий класс, который еще совсем недавно играл роль локомотива революции, являлся опорой профсоюзного движения и вообще рассматривался классиками как наиболее активная политическая сила с коллективизмом, можно сказать, в крови, в современной политике не играет ровным счетом никакой роли (даже в тех странах, где, как в Беларуси, много промышленных предприятий). Правда, угрозы массового рабочего движения сегодня не наблюдается нигде (даже в странах «третьего мира»): еще Маркузе считал рабочий класс «интегрированным в Систему» и утратившим революционную потенцию. По мнению Андре Горца, сегодня революционным агентом скорее следует считать «не-класс не-рабочих», то есть тех, кто, будучи свободным от «идеологии продуктивного труда», способен отречься от капиталистической рациональности и обрести индивидуальную автономию.¹⁵

Но даже в таком обществе, где в качестве ценностных ориентиров доминируют буржуазная нуклеарная семья и либеральный индивидуализм, некоторых форм групповой идентичности все равно не избежать. Так, в постсоветских странах, невзирая на отмеченное выше неприятие любых форм подчинения воле большинства, вместе с приходом капитализма постепенно прижилось и понятие «корпоративной солидарности»; по сути, речь идет не о солидарности с «трудящимися всех стран», но только со своими товарищами по цеху. Не будем сейчас обсуждать, чем выгодна такая модель локализуемой (во времени и пространстве) и регламентируемой солидарности капиталистическому порядку, отметим лишь, что и в современной политике мы можем обнаружить нечто похожее: я имею в виду гомогенность (возрастную, этническую или профессиональную) протестных групп.

Так, в Беларуси, несмотря на то что причины для недовольства существующим режимом есть фактически у каждой группы населения (для примера можно взять контрактную систему или обязательное распределение, не говоря уж о тотальном произволе в области политических свобод), ни о какой солидарности и взаимной поддержке различных слоев общества говорить не приходится¹⁶: каждая социальная группа защищает только свои «цеховые» интересы – вот почему протесты индивидуальных предпринимателей, Союза писателей, закрытых властями газет, ЕГУ, частных медицинских учреждений и других «корпораций» остались незамеченными для большинства белорусов. Только люди с очень богатым воображением могут представить себе, что в один прекрасный день протестное движение в нашей

стране будет включать в себя гетерогенные социальные группы и слои (как это было во французском Сопротивлении, которое смогло объединить всех — от рабочих до философов).

Оппозиционное движение в Беларуси также несет на себе следы этой корпоративности. Не удивительно, что для самой оппозиции является большим вопросом, что же она представляет собой в качестве «коллективного субъекта»¹⁷. Очевидно, что движущей силой этого движения являются представители интеллигенции (теперь все больше — безработные) и в последнее время студенты. Индивидуальные предприниматели образуют отдельную, хотя и не слишком активную, протестную группу. Крестьяне, рабочие, бизнесмены, пенсионеры, чиновники — все те, кто интегрирован в Систему посредством экономических рычагов, — к оппозиционному движению относятся не просто скептически, но порой и враждебно, а смысл выдвигаемых требований многим из них и вовсе не понятен. К этому стоит добавить, что хотя интеллектуалы и студенты во всех странах отличаются «особой чувствительностью», имеющей общую историю и политическую традицию, эти группы, по мнению Жака Рансьера, не способны «произвести какую-либо политическую субъективность в полном смысле слова», породить некое коллективное «Мы» (коллективное не только для себя, но и для других), которое было бы способно объединить и повести за собой самые разные социальные слои. Словом, они не в состоянии сформировать «силу, которая обобщала бы несправедливость»¹⁸, что, собственно, и доказывает «новейшая история» оппозиционного движения в Беларуси. Вот почему индивиды и группы, участвующие в повстанческих движениях, узнают друг в друге «своих» и действуют сообразно выработанным ими же самими правилам (что особенно ярко проявляется в практике флэш-мобов), но круг их сторонников не расширяется. Максимум, чего можно ожидать от интеллектуалов, так это определенных усилий по мобилизации общественного мнения, по созданию и поддержанию публичного дискуссионного форума.

В этих условиях все большее значение приобретает феномен *негативной коллективности*, когда люди объединяются не по причине общности разделяемых убеждений и взглядов, а потому, что не видят позитивного выхода из наличной политической ситуации, не видят тех людей или партий, которые выражали бы их интересы. Потому они объединяются не «за», а «против». Хорошо известно, например, что среди противников действующего белорусского режима большинство составляют люди разочаровавшиеся, готовые проголосовать скорее «против всех», чем за кого-либо, и у оппозиции (у того же Милинкевича) по этому поводу нет никаких иллюзий. Правда, и здесь, как мы уже выяснили, проявляется не только и не столько белорусская специфика, сколько общая тенденция, которую можно наблюдать сегодня и в России, и во Франции, и в Италии, и в других странах.

Однако негативная коллективность имеет, как это ни парадоксально, свои плюсы. Как правило, позитивная программа — это прерогатива власти (вспомним до боли знакомое «ЗА Беларусь!»), задача

же оппозиции и всех тех, кто выступает «против», состоит в критике доминирующего идеологического проекта. Во всяком случае, такова должна быть позиция критического интеллектуала, о чем мне уже приходилось писать ранее: для него выступать «против всех», то есть не соглашаться ни с одной из противоборствующих сторон (за исключением временных, определенных политической необходимостью, альянсов) — это сознательный выбор и норма поведения.

Российский художник Анатолий Осмоловский предлагает воспользоваться неологизмом «антиинтеллектуал», или «антиинтеллигент», для обозначения описываемой здесь протестной поведенческой модели¹⁹. По его мнению, любая позитивная программа разъединяет сопротивление, негативная же сплачивает и дает возможность развития — особенно если реальных альтернатив действующей власти нет (как это сейчас выглядит в Беларуси или в России): чтобы альтернативы появились, нужно сначала расчистить поле, «освободить общественное сознание от тех перегородок, законов и запретов, которые мешают эти альтернативы помыслить»²⁰.

Может ли негативная коллективность привести к возникновению долговременного политического проекта? Осмоловский обращает внимание на одну интересную особенность избирательного процесса, которая указывает на структурную возможность оформления нового движения без каких-либо организационных затруднений: «графа “Против всех партий, блоков и кандидатов” в предвыборных бюллетенях есть²¹, а вот политического субъекта, который озвучил бы такую политическую “программу” — нет. А ведь это движение без регистрации, без кулуарных интриг может принимать участие в выборах!»²² Именно таким образом, считает Осмоловский, можно обрести политический голос и пытаться влиять на политическое развитие в стране — ведь графа «против всех» включена изначально в бюллетени (хотя массовое обращение к ней рассматривается властью как запрещенный прием). Этот парадоксальный проект наследует не только историческому анархизму, но и Ситуационистскому интернационалу, и философии Делёза и Гваттари, и другим концепциям; и, как я собираюсь показать ниже, именно эта идея (против всех партий) является ключевой в практике белорусских флэш-моберов²³.

Наконец, еще одной характерной особенностью современной политики является смещение борьбы за власть в область культурной репрезентации — о чем, собственно говоря, и пойдет речь далее в этой статье уже на материале недавних белорусских событий. С одной стороны, сегодня даже не сведущие в политике люди понимают, что современный политик — без продуманной PR-компании, без постоянного присутствия в масс-медиа, без поддержки людей, обладающих значительным культурным капиталом, — не может добиться успеха. С другой — речь все же идет о более сложных материях: а именно, о том, что социоэкономическая несправедливость не совпадает с культурной, но они могут взаимно усиливать друг друга; что борьба за культурное признание может отвлечь от решения вопросов, связанных с экономической эксплуатацией; что поведенческие паттерны

(обусловленные не столько индивидуальной психологией, сколько историческим опытом и моделями социализации), повседневные коммуникативные практики, культурные нормы и традиции оказывают существенное влияние на политическую культуру данного общества и его публичную сферу; и, наконец, что дискриминация в сфере культурной репрезентации может иметь серьезные последствия для консолидации новой политической силы и для реконфигурации всего политического поля. Иначе говоря, культура — это всегда политика, и *vice versa*.

Культура как пространство символической борьбы

Предлагая сконцентрироваться на вопросах культурной политики и репрезентации, я вовсе не хочу сказать, что вместо систематического изучения взаимосвязанности экономических, социальных и политических отношений мы должны всецело переключиться на «чисто культурные» проблемы. Вероятно, прежде необходимо сказать несколько слов о том, что имеется в виду под «культурой», чтобы затем пересмотреть ту роль, которую она играет в социальной жизни. В русле неомарксистской традиции культурных исследований было бы непростительным анахронизмом сегодня полагать, что культура является чем-то производным и вторичным по отношению к материальной сфере, равно как и усматривать в ней лишь автономное творение человеческого духа. Сегодня вообще не представляется возможным говорить о стабильном разграничении экономической и культурной жизни; мы имеем дело скорее со множественными взаимодейстованиями, ибо, с одной стороны, культура переплетается со всеми социальными практиками и видами деятельности (при таком подходе культура, собственно, и сама определяется как способ деятельности, или *way of life*), а с другой — экономический базис или политическая сфера являются проявлениями характерного для данного общества образа жизни и культурной традиции. Далее, культура не гомогенна, и в этом смысле было бы правильнее говорить о ней во множественном числе: в любом обществе доминирует культура господствующего класса, функционирование которой обеспечено соответствующими образовательными учреждениями, масс-медиа, литературными нормами языка, «высокими» искусствами, в то время как некоторые культуры (например, культура рабочего класса, культура геев, определенные этнические или молодежные культуры) остаются невидимыми.²⁴

Антонио Грамши и впоследствии теоретики Франкфуртской школы рассматривали культуру как идеальный инструмент для навязывания идеологии доминирующего класса, как пространство, в котором происходит разжижение твердого тела власти и растекание этих импульсов по артериям культурного производства, а все ее институты и формы — в конечном счете, как инструменты политического господства. Для теоретиков Бирмингемского Центра культурных исследований (Раймонд Уильямс, Стюарт Холл) идея безусловного торжества доминирующей идеологии в сфере культуры не приемлема: будучи медиатором политических амбиций классов-антагонистов, культура

является пространством борьбы за символический капитал, она инициирует процесс обмена мнениями (negotiations) и выработку критических теорий. Культура не является ни полностью автономной, ни абсолютно детерминированной сферой, это скорее место проявления социальных различий и борьбы за идеологические приоритеты.²⁵ Существует тенденция воспринимать борьбу за культурное доминирование как «борьбу вкусов»; я же в данном случае хочу подчеркнуть, что речь должна идти не о противостоянии «высокой и низкой», «элитарной и массовой культур», дурного и хорошего вкусов, а в первую очередь – о борьбе различных социальных групп, осуществляемой посредством культуры.

Иначе говоря, культура выступает не только средством легитимации социального неравенства – она так же предлагает способы его преодоления: любая «революция» начинается с борьбы за переоценку культурных ценностей и изменение культурной политики.²⁶ Культурная политика – это борьба за то, чтобы сделать «видимой» историю и культуру определенной социальной группы, это борьба за репрезентацию, это борьба с доминирующей идеологией, узурпировавшей право на «именование», на натурализацию так называемого «здорового смысла», на представление «официальных версий» и реконструкцию исторического прошлого.²⁷

Нынешняя белорусская власть отлично понимает, что сегодня политика делается посредством культуры, а не прямой репрессии (и хотя последняя применяется очень часто, последствия ее применения весьма сомнительны). Наиболее явно об этом свидетельствуют акции «ЗА Беларусь!» и те способы, которыми государственные СМИ узурпируют публичное пространство: осуждение сотен манифестантов на 15 суток и помещение их в тюремные изоляторы было гораздо менее эффективным способом убеждения, чем «промывание мозгов» обывателям с помощью бесплатных концертов с участием белорусских и российских исполнителей и репортажей с Октябрьской площади, подготовленных БТ и ОНТ.

Когда студенческая молодежь и тысячи интеллигентов, собравшихся на площади, с высшими образованиями, с кандидатскими и докторскими степенями, знанием иностранных языков, оказались «репрезентированными» на БТ слабоумной дворничихой из ЖЭС²⁸, якобы пришедшей на площадь в поисках новых друзей, то обыватель должен был поверить: вот это и есть «лицо» белорусской оппозиции... В качестве другого, не менее красноречивого примера можно вспомнить концерт, организованный 3 июля прошлого года на Октябрьской площади и транслировавшийся каналом ОНТ в прайм-тайм: картинка с многотысячной толпой, собравшейся по случаю праздника и хорошей погоды послушать белорусскую попсу (с мороженым, пивом и детьми), до отказа заполнившей площадь и все прилегающие улицы и скверы, нужна была лишь для того, чтобы подготовить кульминацию – появление на сцене в окружении поп-звезд лидера нации с проникновенной речью про «синеокою» и «русоволосу» Беларусь. Те ракурсы и панорамические съемки, которые использовали опера-

торы ОНТ для создания образа ликующего народа, по визуальному стилю, но, главное, по идеологическому пафосу напоминали фильмы Лени Рифеншталь.

Мыслящих белорусов «достал» не только действующий президент, но еще больше санкционированный им и усовершенствованный государственными масс-медиа, избирками и другими структурами механизм систематического присвоения наших голосов (голосов во всех смыслах): многократные попытки оппозиционных политиков защитить себя от произвола ни к чему не привели (достаточно упомянуть хотя бы недавнюю историю с иском Анатолия Лебедько к БТ и лично Александру Зимовскому), а про количественные показатели всех последних выборов и говорить нечего. Слова Пьера Бурдьё о том, что «государство — это держатель монополии на легитимное символическое насилие»²⁹, как нельзя лучше описывают наш белорусский case. Лукашенко, обладающий наибольшим символическим капиталом (чья точка зрения изначально а priori воспринимается как легитимная, ибо он и есть само государство), может говорить все что угодно, используя любые выражения («отморозки», «уроды», «дебилы», «сволочи» — вот лишь некоторые образчики его лексикона, применяемого для описания протестного электората и оппозиции). И ему не только ничего за это не будет, но и более того — переведенные из приватной речи в статус публичных слова немедленно подхватываются масс-медиа и госчиновниками, в то время как несогласные с властью люди лишены права говорить вслух даже достаточно невинные вещи (вспомним, например, за что был осужден Левоневский, или о преследованиях молодёжников за растяжки и граффити с лозунгом «Достал!»), будучи совершенно не защищенными перед лингвистическим произволом, чинимым властями и госСМИ.

В чем смысл борьбы за символическую власть, осуществляемой посредством культуры? Что происходит, когда одна социальная группа присваивает себе полномочия репрезентировать другую, лишая ее права голоса, и претендует на единственно «истинную» репрезентацию действительности?

Согласно Пьеру Бурдьё, символическая власть — это worldmaking, или определенный способ конструирования мира, это власть «творить вещи при помощи слов». Слова, названия конструируют социальную реальность в той же степени, в какой ее выражают (на этом положении основана конструктивистская теория репрезентации), и являются, по мнению Бурдьё, исключительными ставками в политической борьбе, конституируя легитимный способ видения действительности. Как в свое время показал К. Леви-Стросс, системы классификации, встроенные в язык, оперируют главным образом бинарными оппозициями: мужское—женское, высокий—низкий, свое—чужое и т. д., — которые организуют восприятие социального мира и, в конечном счете, сам этот мир.

Бурдьё, применяя антропологическую схему для анализа социальных отношений, утверждает, что «борьба классификаций есть фундаментальное измерение классовой борьбы»³⁰. Власть навязывать

определенное видение является прежде всего политической властью, то есть властью создавать группы и манипулировать объективной структурой общества. «Как всякий вид перформативного (производительного) дискурса, символическая власть должна быть основана на обладании символическим капиталом».³¹ Условия борьбы за символический капитал, конечно, не равны для разных политических акторов. Например, государственные чиновники и все другие, кто наделен полномочиями выражать официальную (легитимную) точку зрения, позиционируют себя как носители здравого смысла: все, что говорят остальные, еще следует доказать.

Увы, наша ситуация такова, что других держателей символического капитала (каковыми в нормальных обществах являются, в первую очередь, люди, оппонирующие власти и относящиеся к интеллектуальной и культурной элите) в публичном пространстве Беларуси нет и быть не может: «эксперты», нанимаемые властью для легитимации ее действий, к этой категории не относятся, оппозиционные политики так и не сумели укрепить социальный авторитет, приобретенный в середине 1990-х (и виновато в этом не только БТ), а немногочисленные интеллектуалы, имеющие собственное мнение, за пределами литературных или философских кругов известны лишь очень специфическим «публикам» (слушателям Радио «Свобода», читателям *АРСНЕ* или *Нашай нівы* и т. д.).³²

Борьба за символическую власть имеет специфическую логику и принимает различные формы. Так, эффективность этой борьбы, согласно Бурдье, «зависит от степени, в которой предполагаемый взгляд основан на реальности»³³: предлагаемая властью картина действительности должна восприниматься как более или менее правдоподобная, не выходящая за рамки пресловутого здравого смысла. Трудно сказать, в какой именно момент и почему возникают сомнения в «неадекватности» навязываемой картины мира, но в случае мартовских событий тот факт, что власть довела цифру доверия действующему президенту до 83 процентов, вместо, скажем, 60, явился, возможно, решающим в дестабилизации обстановки: даже самым аполитичным людям стало понятно, что их «имеют», уже ничем не прикрываясь и безо всяких стеснений, и что эта цифра имеет мало общего с реальностью. Я несколько не сомневаюсь, что в решении властей была определенная логика: количество проголосовавших «за» на прошлогоднем референдуме приближалось к 80 процентам, соответственно, на этих выборах народ должен был убедиться в том, что его «выбор» правильный и что количество сторонников особого белорусского пути еще больше выросло. Но усердие государственной пропаганды, выбравшей из всего разноцветия красок для репрезентации белорусской реальности лишь сочный поросячий цвет на фоне разрастающегося темного полчища врагов, окруживших сытую и стабильную Беларусь, возымело прямо противоположный запланированному эффект: расхождение между картинкой и действительностью стало казаться просто вопиющим.

Итак, те, кто известен и признан, способны навязать свою картину мира, задающую структуры восприятия и оценивания социальной реальности. Чтобы преобразовать этот мир, нужно трансформировать способы его восприятия, разрушить кажущуюся непротиворечивой и когерентной идеологическую матрицу, с помощью которой конструируется, легитимируется и воспроизводится status quo – тот порядок вещей, та социальная структура и та система управления, – который выгоден власти предрержащим. Соответственно, основная задача для всех тех, кто надеется этот status quo изменить, – стать видимыми в публичном пространстве и вести систематическую работу по накоплению и упрочению символического капитала, чтобы те когнитивные и оценочные категории и классификации, которые нам навязаны властью, перестали восприниматься большинством как единственно истинные, а альтернативное видение мира стало доступным и понятным для многих. Именно эта задача (увеличение ставок в борьбе за символическую власть) решается в сфере культурной политики.

Эстетическое vs политическое: искусство как резервуар политических идей

Как было показано выше, именно через культурную репрезентацию осуществляется символическое насилие, без которого ни одна власть не может обойтись. И все же, несмотря на то что культура действительно «гасит» сопротивление недовольных, маскирует социальные антагонизмы и экономическое неравенство, тем не менее репрезентации могут оказаться обоюдоострым оружием: в некотором смысле сфера культуры является «ничьим» пространством, здесь власть всегда можно оспорить, даже если медиа всецело контролируются господствующим режимом. Главное – суметь (и успеть) создать как можно больше альтернативных доминирующей (официозной) культуре пространств и закрепиться на отвоеванных плацдармах. Белорусские пользователи интернета – они же наиболее активная в политическом плане социальная группа, поскольку интернет выступает и как источник альтернативной информации в обход контролируемых государством масс-медиа, и как средство коммуникации, выстраивания социальных сетей, – завоевали плацдармы в виде таких сайтов, как «Третий путь» или «Белжаба».

На мой взгляд, то, что мы могли наблюдать в Беларуси в течение последних трех месяцев, та стратегия политической борьбы и оппозиционной властям культурной политики лучше всего описывается с помощью ситуационистского термина *détournement*. У этого французского слова всегда было много значений: «отклонение», «изменение направления», «незаконное присвоение», «искажение», «злоупотребление» и др. Изъяв его из общеупотребительного словаря французского языка, Ги Дебор придал ему концептуальную, политико-эстетическую ценность. В *Дефинициях (Définitions, 1958)* данный термин определяется как «остранение предположенных эстетических элементов»³⁴, когда уже готовые эстетические продукты используются

для конструирования новых ситуаций. Остранение (термин, который нам хорошо знаком по работам русских формалистов) здесь несет ключевую смысловую нагрузку. Прием или образ извлекаются из родной среды (которая таким образом обесценивается), очищаются от исходного значения и приобретают новое, которое целиком зависит от контекста. Ги Дебор полагал, что в целях усовершенствования революционной пропаганды совершенно необходимо использовать накопленные человечеством культурные достижения, не давать им осесть мертвым грузом в библиотеках и музеях. Эффективность этого приема зависит от эмоционального воздействия и от того, как долго он сможет сопротивляться рационализации. Словом, чем абсурднее и непонятнее, тем лучше.

По мысли Ги Дебора, порывая с устоявшимися социальными и юридическими конвенциями, *détournement* может выполнять роль влиятельного культурного оружия в классовой борьбе пролетариата.³⁵ Поскольку речь идет о постоянной смене правил игры, что позволяет избежать косности и стагнации как на эстетическом, так и на политическом полях, то, соответственно, в дальнейшем ни одна ситуация не может избежать нового «присвоения». Не будем забывать о том, что тотальности спектакля, как считали ситуационисты, можно противопоставить только «игровые стратегии обесценивания, направленные на сингуляризацию всех событий, вещей и состояний»³⁶. Иначе говоря, сингуляризация любого события или состояния предлагается как единственно возможная стратегия действий, соответствующая логике партизанской борьбы и облегчающая задачу освобождения от тотализирующих дефиниций. Создание «краткосрочных сред существования» — это и есть цель такой практики. Очевидно, в таком случае можно говорить о сопротивлении логике репрезентации, которая становится невозможной, если нет ни стабильного политического субъекта, ни устоявшихся конвенций, да и само событие не подлежит категоризации.

При этом роль публики, занимающей позицию спектакулярного невмешательства, минимизируется, а «актеры» уступают место «людям жизни», в новом смысле этого выражения. Следует заметить, что в рамках проекта, получившего название «Ситуационистский интернационал», радикально меняется смысл «искусства» и пересматривается роль людей, которые к нему причастны. Ги Дебор неоднократно подчеркивал, что для него искусство, замкнутое на самом себе, не преследующее никаких иных целей, кроме самовыражения художника, лишено всякого смысла.³⁷ Художник может и должен быть активным участником революционной борьбы, способным пробуждать самосознание масс и побуждать их к самостоятельности.

Итак, применительно к рассматриваемому нами случаю, невозможно учитывать как исходное значение термина, так и «приобретенное». Ведь, с одной стороны, речь идет о тех уловках, обходных маневрах, окольных путях, которые могут быть использованы в ситуации, когда лобовое столкновение обречено на неудачу, а с другой — о том, что эстетические приемы в определенном контексте

не могут не иметь политического эффекта. Именно в этом ключе, как мне представляется, стоило бы анализировать значение таких феноменов, как флэш-моб, граффити, «сетевой фольклор» и другие разновидности эстетического сопротивления, которые заявили о себе в последнее время как основные способы борьбы за символическую власть на политической и культурной арене современной Беларуси.

Вообще говоря, в западных странах роль постоянного «возмутителя» публичной сферы приняло на себя актуальное искусство, особенно та его «разновидность», которая получила название *Public Art*. Не вдаваясь в детальное рассмотрение концептуальной программы «публичного искусства», ограничусь лишь некоторыми ремарками, позволяющими понять, в чем смысл той перформативной политики, которой вот уже много лет занимаются такие художники, как Кшиштоф Водичко, Ханс Хааке, Guerilla Girls, Лорен Лисон, Барбара Крюге, Джуди Чикаго, радикально переосмыслившие социальные функции искусства, политическое значение художественных сообществ и способы адресации городской публике.

Следует отметить, что далеко не всякое искусство, появляющееся в публичном пространстве, является собственно «публичным искусством». Я имею в виду традицию установления монументов, украшения зданий барельефами и другими декоративными элементами, используемыми для эстетизации городской среды, но в еще большей мере — для популяризации и увековечивания идеологических «посланий» действующей власти. Правда, при этом дискурс легитимации тех или иных городских проектов переустройства или декорирования всегда выдвигает на первый план соображения комфорта или эстетики, стремясь замаскировать политическую мотивацию того или иного решения. Любой из европейских городов представляет собой сложный архитектурный палимпсест, сообщающий нам не только о смене эстетических стилей, эволюции строительных технологий, особенностях процесса урбанизации, но и о той изнурительной борьбе властных режимов, каждый из которых стремился «присвоить» город себе — изменить до неузнаваемости облик городского пространства, равно как и способы его картографирования. В этом смысле разноцветные биг-борды с социальной рекламой, новые памятники, «европаперть» (на Немиге), все реконструированные центральные площади, новое здание Национальной библиотеки, современный минский «лэнд-арт» и прочие архитектурно-ландшафтные изыски лукашенковской эпохи³⁸ вполне соответствуют той «бюрократически-эстетической» форме публичной легитимации, которую с разной степенью успешности эксплуатирует любая (но в особенности авторитарная) власть.

Начиная с XVIII века город превращается в грандиозную, доступную для всех художественную «галерею», приспособленную влиятельными «кураторами» для временных и постоянных экспозиций, архитектурных инсталляций, медийных шоу, подземных и наземных «перформансов» и политических «хэппенингов». Очевидно, однако, что общедоступность такой галереи потенциально содержит в себе опасность проникновения на ее территорию «чужаков» — тех, кто по-

желает воспользоваться ее площадками для реализации собственных проектов, которые идеологически не только не совпадают с замыслами «кураторов», но, скорее, в корне им противоречат. Художники, относящие себя к *Public Art*, занимаются именно такого рода проектами, перекодируя городское пространство и провоцируя публику на переосмысление того, что им предлагается властью в качестве естественной среды обитания. Как считает Кшиштоф Водичко, один из наиболее признанных «публичных» художников, цель критического публичного искусства состоит не в радостно-безмятежном экспозиционизме и не в пассивном коллаборационизме с кураторами этой гигантской «галереи», но в активном вторжении в социальную жизнь, в осознанном конструировании городской среды, в систематическом подрыве тех схем поведения и форм реакции, которые преобладают в нашем восприятии мира и повседневной коммуникации.³⁹ Художественная практика должна быть неразрывно связана с самыми острыми вопросами публичной сферы: «украшательство» же, на первый взгляд далекое от политики, всегда выполняет функцию легитимации доминирующего властного дискурса (не важно, идет ли речь о либеральной демократии либо об авторитарном режиме).

Не будет преувеличением сказать, что *Public Art* – это искусство, способное «предвосхищать фигуры политического сознания» (если позаимствовать мысль Алена Бадью⁴⁰). Генеалогия «публичного искусства» восходит, в том числе, и к вышеупомянутому «Ситуационистскому интернационалу», наиболее последовательному и радикальному художественному проекту с точки зрения заявленных политических целей и способов борьбы с «обществом спектакля». Возможно, сегодня движение ситуационистов воспринимается как слишком утопическое, в чем-то наивное, в какой-то мере тоталитарное и в целом слишком пропитанное духом авангардизма (который, с точки зрения современного искусства, несколько отдает нафталином), но нельзя отрицать того, что он вдохнул новую жизнь в искусство, единственная перспектива выживания которого на тот момент (конец 1950-х гг.) связывалась с встраиванием в идеологию консюмеризма. Определив противника – «общество спектакля» с присущими методами управления, – ситуационисты выработали целостную стратегию критического сопротивления с учетом особенностей урбанистического общества. Независимо от того, в какой мере современные «публичные художники» разделяют политические и эстетические взгляды ситуационистов, все они сходятся в том, что искусство сегодня должно быть занято не «не-производством вещей», а «созданием культурной ситуации»⁴¹.

В Беларуси «публичного искусства» нет, и взяться ему, как я полагаю, просто неоткуда: с одной стороны, нет «питательной» среды (то есть присущих развитому капитализму форм институциональной поддержки искусства, соответствующей городской инфраструктуре, источников финансирования и опыта кураторства подобных художественных проектов, да и социального «запроса» на актуальное искусство тоже нет). К тому же не стоит сбрасывать со счетов цен-

зуру и бюрократическую зашоренность властей, для которых любая акция, не соответствующая их представлению об искусстве и границах «дозволенности», опасна, а следовательно, проще ее запретить, чем разрешить. С другой стороны, мы имеем дело с поразительной незрелостью самого «актуального» белорусского искусства и неготовностью художников и кураторов к подобному — политическому — переосмыслению своей деятельности. Остается только согласиться с российскими художниками (при том, что тамошняя художественная среда принципиально отличается от белорусской), что проблема сегодняшнего искусства в постсоветских странах — это фатальная потеря коммуникаций с обществом и, как следствие, потеря социального статуса художника.⁴²

Между тем именно эстетические средства могли бы стать самой эффективной формой борьбы в условиях тотальной политической несвободы. На примере современной Беларуси мы можем наблюдать, как на смену «бесхитростной прямолинейности тоталитарного диктатора»⁴³ классических авторитарных режимов пришли методы «показной демократии»: власть сегодня — это прежде всего зрелище власти, опосредованное различными визуальными технологиями. И бороться с властью означает создавать альтернативные спектакли, подрывая идеологию этого зрелища изнутри, используя те же (медиаально-эстетические) средства. Кроме того, не будем забывать о том, что и в западных странах, и у нас художник остается «единственным, по большому счету, деклассированным элементом, если правильно это понимать. То есть он не участвует в производственных отношениях напрямую. Он как бы отстранен, что позволяет ему критиковать это общество, занимать внешнюю позицию»⁴⁴. В отличие от большинства работающих, связанных по рукам и ногам контрактами (что типично для Беларуси, где за политические взгляды многие уже заплатились местом работы), люди свободных профессий не рискуют быть уволенными. Более того, в отличие от советского или нацистского режимов, сегодняшний художник или писатель не обязан своими средствами производства соответствующему творческому союзу — в гораздо большей мере современный художник зависит от рынка. Наконец, посредством «поэтического языка» можно сказать гораздо больше, чем обычными вербальными средствами, а в области художественных практик можно изобрести множество форм и способов действия, которые не подлежат уголовному или административному преследованию. В Уголовном кодексе нет статьи за иконокластию. Правда, увы, есть статьи за хулиганство или за разжигание национальной и религиозной розни, которые власти все чаще применяют в отношении будоражащих общественное мнение художественных акций, примером чему может быть и российская история с Авдеем Тер-Оганьяном, устроившим в Москве перформанс с разрубанием икон возле Манежа, и выставка «Осторожно, религия!», и другие художественные события. Отдельно можно обсуждать историю с перепечаткой датских карикатур («Лики Мухаммеда»), выгоду от которой поимела даже бело-

русская власть, найдя таким образом повод расправиться с оппозиционной газетой «Згода».

Пожалуй, единственным «публичным» художником в современной Беларуси можно считать Алеся Пушкина — ведь за исключением его акций возле резиденции президента или у входа в Художественный музей больше и вспомнить-то нечего. Интересно, что в этом качестве его признает и власть: как иначе объяснить недавнее происшествие, когда Пушкина арестовали и продержали в кутузке три дня как подозреваемого в том, что он облил черной краской памятник Герою Советского Союза Василию Чеботареву. На первый взгляд, ничего, кроме абсурда, в логике властей усмотреть нельзя: как будто только у профессионального художника можно найти черную краску и как если бы его художественного воображения и мастерства хватало лишь на то, чтобы «очернить» бюст официального героя. Однако в действительности это не так уж глупо: репутация Алеся Пушкина как художника, имеющего совершенно определенные политические взгляды и регулярно бросающего публичный вызов властям своими перформансами, заставила крупкинскую милицию заподозрить в содеянном именно его, а не школьных хулиганов или местных алкоголиков.

Отсутствие политически ангажированного искусства — это всего лишь один и, я бы сказала, частный аспект целого комплекса проблем: отсутствия современного искусства в целом, что бы по этому поводу ни мнили сами белорусские художники или же их кураторы. Частные галереи, как правило, работают в режиме классической выставки, состоящей из висящих на стенах картин или расставленных в пространстве скульптур; зачастую главная их функция — обеспечить встречу продавца и покупателя.⁴⁵ Музей современного искусства своему названию не соответствует, его «идеология» глубоко архаична, а темы выставок и способ организации выставочного пространства не выдерживают никакой критики. Фактически нет коллективных проектов — если только в качестве таковых не рассматривать коллективные выставки, в которых вся «коллективность» состоит в том, что куратор собрал работы разных художников в одном выставочном зале. Интеллектуальный уровень и профессиональная компетенция критиков оставляет желать много лучшего. Не созданы институциональные условия ни для подготовки нового поколения художников и кураторов, ни для презентации их деятельности. Редкие попытки шведских, польских, немецких художников и критиков привить на этой почве идею современного искусства (особенно в области видео- и net-арта) оборачиваются проведением спорадических акций, которые не в состоянии повлиять на ситуацию в целом. Я не исключаю, что наша особая дремучесть в этом вопросе (по сравнению, например, с Литвой или Польшей) объясняется отчасти тем, что в Беларуси не функционировали соросовские центры искусств или другие альтернативные государственным образовательные арт-институты, которые во всех других восточноевропейских странах на протяжении десяти лет поддерживали новаторские художественные проекты, создавали библиотеки, помогали художникам и кураторам включаться в между-

народный контекст – словом, работали на создание нового художественного сообщества.

Наших художников хватает, максимум, на очередную выставку натюрмортов без названий (*à tout faire*), которые затем оседают в буржуазных интерьерах дорогих мебельных салонов или в офисах банков и компаний; на репродуцирование разнокалиберных бацилл, котиков, мадонн и т. д. или же на поливание себя томатным соком где-нибудь в провинциальном европейском городе при стечении праздных зевак – разумеется, безо всякой политической артикулированной цели. Достаточно беглого ознакомления с названиями выставок, проходящих на данный момент в Минске: «От сердца к сердцу...», «Солнцеворот», «Муза художника», «Озаренный мир», «Палитра души», «Мой взгляд», «Ангелы. Между небом и землей», «Бабы лета, зимы, весны», «Ночные полеты» и др., – чтобы удостовериться в том, что все вышесказанное является не злобным выпадом в адрес белорусского искусства, а, скорее, грустной констатацией сложившегося положения дел.

Конечно, я не спорю, отдельные художники получили известность и признание как в Беларуси, так и за ее пределами – прежде всего как люди, владеющие в совершенстве ремеслом; фестиваль перформанса «Новинки» – действительно важное культурное событие для белорусов и т. д. Проблема в другом: ни одно из этих мероприятий не стало *событием* за пределами «мира искусства», не стало фактом социальной жизни; и очень немногие из хороших художников, зарабатывающих себе на жизнь своим мастерством, претендуют на то, чтобы считаться культурными героями (я имею в виду Владимира Цеслера, Артура Клинова, Алеся Пушкина и еще двух-трех человек), способными донести до широких масс внятный культурный или политический message... В Беларуси искусство и политика существуют в параллельных пространствах, и, боюсь, никого этот факт особенно не волнует. Искусство в наших широтах понимается в первую очередь как средство самовыражения художника, а во вторую – как способ эстетического облагораживания окружающей среды, но вовсе не как инструмент культурной политики или способ коммуникации, способный артикулировать проблемы насилия, страха, боли, дискриминации, ксенофобии, нетерпимости и т. д.

Итак, поскольку белорусское искусство самоустранилось из сферы политического перформанса, эту функцию приняли на себя другие культурные формы: граффити, сетевая субкультура (ненормативные и «фольклорные» ресурсы) и флэш-мобы, то есть такие коллективные проекты, которые с помощью эстетических средств используют виртуальное либо городское пространство для создания альтернативной публичной сферы.

Октябрьская площадь: возрожденная публичность

... «Город – герой, а ты?» – скромный текст, напечатанный на белой бумаге, взывал ко мне лично, и сила его убеждения была сопоставима разве что со знаменитым советским плакатом Д. Моора «Ты записался добровольцем?». Послание от неизвестного отправителя застигло меня врасплох: этот и другие листочки (с разными по содержанию, но столь же лаконичными текстами), расклеенные на деревьях, водостоках, зданиях в центре города, резко контрастировали с привычным визуальным фоном. Спустя год этот вопрос мне кажется еще более актуальным, чем казался тогда. Более того, только теперь он приобрел для меня смысл.

Тогда же, год назад, в статье для *Топоса*, посвященной проблеме «Академия и власть», я задавалась вопросом: «Существует ли в Беларуси публичное пространство? То есть такое *пространство, место, способ*, наконец, *возможность* для выражения своей точки зрения на общество и происходящие в нем процессы?»⁴⁶ Ответ был очевиден: конечно же, нет. Банальные истины – типа того, что право на публичное высказывание и открытое обсуждение существующих в обществе проблем должен иметь любой гражданин, независимо от возраста, пола, статуса, классовой или этнической принадлежности, а все социальные практики могут и должны быть предметом публичной дискуссии и публичного выражения мнений, – в Беларуси не работают; более того, здесь это вообще не «истины», а провокационные утверждения. Та модель «гражданского общества», которую власть пытается нам навязать, не предполагает никаких иных, отличных от точки зрения государственных органов мнений и точек зрения. Есть «народ», который «плывет в одной лодке с государством», и есть «не-народ», то есть протестный электорат, который в этой лодке плыть отказывается, а потому вообще не заслуживает того, чтобы на него обращали внимание.⁴⁷ Используя мысль Жака Рансьера, можно сказать, что понимаемый таким образом социальный консенсус вовсе не является ни продуманным согласием, касающимся общего дела, ни решением договориться, несмотря на конфликты; такой консенсус по сути представляет собой подавление любых разногласий, в результате чего общество предстает как непротиворечивая, самодостаточная и идентичная самой себе целостность.⁴⁸



Между тем, даже если несогласных немного, их интересы должны быть репрезентированы, услышаны и приняты в расчет теми, кто правит, если они хотят управлять от имени «народа». Хотя, что значит «немного»? Даже один процент от десятиmillionного населения – это уже немало... Именно для этой цели – медиации общественных интересов и поиска общего языка – необходимо публичное пространство. Публичная сфера позволяет сделать зреющие в обществе конфликты видимыми, предупредить их обострение и найти приемлемый для вовлеченных сторон выход. Конфликт не просто «продуктивен, но и конститутивен: политика существует только в споре и именно через спор о том, что “дано”. <...> Когда конфликт упраздняется, его место занимают формы неприкрытой, несимволизируемой ненависти к Другим»⁴⁹.

Для Беларуси эти слова Рансьера звучат как диагноз: я имею в виду нарастающую ненависть к Другому на фоне декларируемого властью достигнутого социального консенсуса. Слишком большое количество людей оказалось «вычеркнутым» из избирательных списков – и в буквальном, и в переносном смыслах. И вот это количество исключенных из легитимного политического поля людей (многие из которых выключены также из экономической жизни государства, поскольку были уволены с госпредприятий или же лишены возможности вести свой бизнес) оказалось вовлеченным в реальную политику, осознав необходимость коллективных действий в борьбе за право быть видимыми.

Итак, очевидно, что если возможности быть услышанным нет, если пространства для диалога и подлинного межгруппового взаимодействия ограничены, то раньше или позже такого рода напряженность найдет другой выход.⁵⁰ Что и произошло в марте этого года, в канун, во время и после президентских выборов.

В каких же формах осуществлялся протест? Когда парламент, масс-медиа, учебные заведения, театры, музеи и другие культурные институции полностью оккупированы властью – остается только улица. Тот факт, что люди вышли на Октябрьскую площадь, свидетельствует о том, что личный контакт, возможность видеть и слышать друг друга, способность действовать сообща по-прежнему имеют значение даже в эпоху кризиса публичной сферы (в ее классическом понимании). К тому же выход на площадь означал, что в нашей стране идея политической репрезентации настолько скомпрометирована, что люди испытывают необходимость представлять не «народ», «не оппозицию», а самих себя, и тем самым отказываются от услуг посредников, якобы представляющих их интересы в политике. (Официальные СМИ и сам Лукашенко, настаивая на том, что эта «кучка отморозков» никого не представляет, в некотором смысле правы.) Кроме того, специфика белорусской ситуации состоит и в том, что мобилизация виртуального сообщества и непосредственная коммуникация на площади (лицом к лицу) взаимно дополняли друг друга (информацию о том, что происходит на площади, о нуждах палаточного городка, репрессиях властей, об акциях и митингах мы узнавали из интернета, а сам интернет

в эти дни «жил» событиями площади); собственно говоря, это продуктивное взаимодействие площади и интернета явилось главным фактором возрождения публичной сферы в Беларуси.

Было бы уместно рассматривать феномен Октябрьской площади после 19 марта не только в контексте восстановления в правах, точнее, возвращения к исторически первой форме демократического волеизъявления (площадь), или же как место рождения политического Субъекта (о чем шла речь в статьях О. Шпараги или Г. Миненкова), но и как способ изменения политической и культурной топографии Минска. Площадь, которую создал и избрал для своих официальных мероприятий режим, на несколько дней стала пространством карнавала, локусом несанкционированного властью массового протеста, местом для проведения коллективного публичного перформанса.

Наш город до недавних пор являлся всего лишь гигантским выставочным залом для неосоциалистических фантазий власти, выступающей здесь в качестве главного куратора. Социально-политическая реклама, спекулировавшая на лозунге «За [такую-то] Беларусь!», на некоторое время совершенно вытеснила из визуального пространства города коммерческую рекламу. Помимо биг-бордов, все доступные вертикальные поверхности превратились в одну огромную пропагандистскую площадку. Взять хотя бы общественный транспорт: там, где ранее красовалась какая-нибудь безобидная *Gallina Blanca*, на время предвыборной кампании воцарилось все же то же красно-зеленое убожество со словом «За».

По мысли Пьера Бурдьё, пространственное господство — это привилегированная форма осуществления господства: «Присвоенное пространство есть одно из тех мест, где власть утверждается и осуществляется, без сомнения, в самой хитроумной своей форме — как символическое или незамечаемое насилие: архитектурные пространства, чьи бессловесные приказы адресуются непосредственно к телу, владеют им совершенно так же, как этикет дворцовых обществ, как реверансы и уважение, которое рождается из отдаленности <...>, точнее, из взаимного отдаления на почтительную дистанцию. Эти архитектурные пространства несомненно являются наиболее важными составляющими символичности власти, благодаря самой их незаметности»⁵¹. Соответственно, борьба за пространственные «прибыли» есть составная часть политической борьбы и *vice versa*: политика всегда предполагает определенную пространственную мобильность (может быть, поэтому политика свершается всегда в городах?).

Значение палаточного городка (который власть упорно называла «майданчиком», пытаясь таким образом вписать его в собственную символическую матрицу), на мой взгляд, состояло в том, что таким образом была осуществлена *приватизация (или приватное освоение) публичного пространства*: благодаря людям, оставшимся на площади в палатках, город превратился в арену коллективных политических действий, в результате которых само городское пространство подверглось культурному перекодированию, стало «своим». С помощью граффити («Достал!» и др.), растяжек на мостах и зданиях, флэш-мобов и па-



латочного городка люди обрели шанс «выговориться».

Тот факт, что Лукашенко оттянул инаугурацию до 8 апреля, до наступления теплых деньков, чтобы иметь возможность выйти к «народу» в лучах собственной славы и апрельского солнца, и те мероприятия по наведению порядка, которые были проведены на площади (включая ночную «зачистку» палаточного городка), — свидетельствуют о параноидальном страхе режима потерять это «место». Между тем символическая борьба за площадь уже проиграна: для огромного количества людей это место отныне называется площадью Кастуся Калиновского. Не случайно один из недавних флэш-мобов так и назывался: «Площадь наша!».

Теперь власть желает утвердить свою легитимность, которая чуть было не пошатнулась, очистив сакральное пространство от демократической скверны. Все, кто смотрел трансляцию инаугурации, были поражены тем, насколько город стал чистым и пустым на время проведения церемонии — вероятно, таким власть хотела бы видеть его всегда. «Народный избранник», как настоящий тиран, прибыл к месту своей инаугурации в абсолютном одиночестве: ни ликующей толпы, ни праздных зевак, ни привычно спешащих по своим делам прохожих — на центральных проспектах не было НИКОГО. Совершенно не случайно в период существования палаточного городка, всю неделю после 19 марта, все телеканалы, казалось, заиклились на одной теме (что было связано еще и с информационном вакуумом, учитывая, что главным «ньюсмейкером» в нашей стране является президент, а тут глава государства исчез с экранов на несколько дней). Этой темой стала навязчивая, на грани маниакальности, тяга минчан к чистоте: Октябрьская площадь, занятая протестующими, представляла в этих репортажах как какой-нибудь Двор обедков, как парижская клоака XVIII века, как потенциальный источник чумы или другой (социальной) эпидемии, наводящей ужас на обывателей и пугающей непредсказуемыми последствиями коммунальные и эпидемические службы города.

Отношения Минска с историей всегда были непростыми: художники и интеллектуалы, которых тяготит нехватка «исторического чувства», обусловленная архитектурной бедностью родного города, время от времени возвращаются к проблеме конструирования городского мифа (одним из наиболее удачных проектов такого рода, несомненно, является *Горад СОНца* Артура Клинова). Не исключено, что история политического противостояния режиму Лукашенко, получившая новый импульс в мартовские дни и развернувшаяся на улицах столицы, наконец решит эту задачу: на смену символической пустотности Минска, который все еще остается витриной социализма,

зримым воплощением социального и эстетического застоя, придет новая культурная парадигма городского пространства. А пока молодежные флэш-мобы реализуют стратегию мобильности в городе, ставшем идеальной декорацией для взлелеянной и с такими усилиями поддерживаемой Лукашенко идеи стабильности.

Флэш-моб: перформативная политика коллективного субъекта

Вот уже на протяжении нескольких месяцев и чуть ли не каждый день белорусские новостные сайты и газеты обращаются к теме флэш-мобов: не писал о них только ленивый. В отсутствие реальной политики флэш-мобы придают нашей политической и культурной жизни некоторую интригу, создают *видимость* политической борьбы в ситуации послевыборного затишья. Для меня этот феномен интересен в связи с теми тенденциями в политической (и культурной) сфере, о которых речь шла выше: кризис репрезентации, феномен негативной коллективности, борьба за символическую власть в публичном пространстве, наконец, специфика формирования публичной сферы в эпоху интернета. Практика флэш-мобов является, на мой взгляд, концентрированным, если не сказать идеальным воплощением всех этих тенденций, но, кроме того, в ней, безусловно, отражены и особенности белорусской ситуации: тотальная «зачистка» политического поля режимом Лукашенко и используемые им методы подавления политического инакомыслия, раскол в лагере оппозиции, рост молодежной активности на фоне безразличия и инертности большей части населения, нехватка креативного мышления в политической жизни в целом, и на этом фоне – формирование новых видов социального взаимодействия. Для исследователей современной культуры флэш-моб представляет особый интерес как детище эпохи интернета, поскольку именно благодаря ему (и особенно в нынешней Беларуси) возможны оповещение и быстрая мобилизация желающих принять участие в акциях. Кроме того, медийный характер этой формы коллективных действий обусловлен не только посредничеством интернета в организационном плане: флэш-моб имеет смысл лишь постольку, поскольку сам является медиа-событием – если не в сам момент действия, то в виде последующего «эха» в СМИ.

Начнем с проблемы коллективного субъекта как субъекта политических действий. Именно ввиду нерешенности этого вопроса в белорусской политике флэш-мобы, способные порождать сингулярные всеобщности, то есть ассоциированного на короткое время коллективного субъекта, и стали наиболее востребованной формой политического протеста. Как мы выяснили ранее, проблема субъекта является решающей для политической жизни, при этом «политическое конструирование субъекта предполагает логику легитимации и исключения»⁵² как со стороны власти, так и со стороны оппозиции: незарегистрированные партии и движения, лидеры, чей статус не подтвержден процедурами голосования и представительства, постоянно испытывают нехватку легитимности, которая с правовой точки зрения

делает практически невозможным их участие в политической жизни общества. Белорусский режим неустанно выслеживает и контролирует действия оппозиционных политических субъектов, в то время как белорусская оппозиция подобным образом отмежевывается (как бы осуществляет символическое исключение) от всех тех, кого она считает партизанами от политики, не наделенными достаточными полномочиями для участия в «большой политике», и, напротив, стремится «присвоить» себе символический капитал всех тех, кто на этом поле себя уже проявил.

Организаторы и участники флэш-мобов интуитивно ощутили, что *детерриториализация* (флэш-моберы не нуждаются ни в регистрации своей «организации» с соответствующим юридическим адресом, ни в разрешении на проведение акции в строго определенном месте; более того, постоянное перемещение в пространстве — это одно из условий игры); *децентрализация* (отсутствие управленческой иерархии и «центрального штаба» является одним из принципиальных условий флэш-моба⁵³), *анонимность* участников и *временность объединения* являются единственно возможными стратегиями, позволяющими избежать политической «субъективности», которая была бы непременно использована властью для выявления, опознания, навешивания ярлыков и последующего вытеснения из политического поля.

То, что эта стратегия пока беспроектна, мы видим по действиям стражей порядка, которые пытаются отслеживать флэш-моберов, но при этом очевидным образом не знают, что делать с людьми, которые «несанкционированно» собираются в самых разных местах, чтобы возложить цветы, надуть шары, оплатить счета или поесть мороженого. Власть пытается «опознать» своего невидимого врага, используя при этом стандартную процедуру проверки паспортов, но это не имеет никакого смысла, поскольку флэш-моберы не заявляют ни о своей политической программе, ни о своих требованиях, ни о том, что они представляют какую-либо организацию. Этот затянувшийся праздник непослушания раздражает власть, и поэтому сейчас она озабочена тем, чтобы подвести под действия «толпы» юридические основания, по которым можно было бы эти действия каким-то образом квалифицировать на языке права.

Не менее показательно и то, что другая сторона — оппозиция — не замедлила воспользоваться символическим капиталом флэш-моберов, объявив о «создании центра по проведению акций мирного протеста — политических флэш-мобов» (на базе штаба движения демократических перемен «За свободу») с целью координации деятельности всех инициаторов и участников флэш-мобов (как говорится в сообщении БелаПАН). То есть штаб Милинкевича вознамерился возглавить движение флэш-моберов, подчинив его собственной стратегии политической борьбы. Свое желание взять под крыло юных анархистов штаб объясняет необходимостью обеспечения безопасности участников: «каждая акция будет рассматриваться юристами на предмет соответствия белорусскому законодательству».

Таким образом, мы видим, что на тесном поле белорусской политики выстраивание «третьего пути», ведение игры не по правилам, установленным как властью, так и действующей оппозицией (и в первую очередь — отказ от политической субъектности), является более чем проблематичным. Между тем, совершенно необходимо, чтобы в публичной сфере были представлены многообразные формы ассоциаций, организаций и гражданских инициатив, через взаимодействие которых и происходит «публичное собеседование». Публичная сфера должна быть децентрализованной, включать в себя многообразные и пересекающиеся социальные сети и объединения.⁵⁴

Не удивительно, что участники флэш-мобов возмутились, узнав о настойчивом желании лидеров оппозиции оказать помощь в организации и проведении акций, поскольку такие заявления в корне противоречат идее флэш-моба. Не вызывает сомнения тот факт, что флэш-моберы не желают никого «репрезентировать» (в том числе и оппозицию): в проведении акций анонимная толпа всегда являет саму себя и действует от собственного лица, и полномочия этой «социальной группы» не могут быть отчуждены, делегированы какому-то одному лицу или организации. Здесь мне опять хотелось бы вспомнить о российских интеллектуалах и художниках, объединившихся в проект «Против всех партий!», в манифесте которых говорится: «Деструктивным сообществам разочарованных неудачников, “ушедших в пиар”, мы собираемся противопоставить нерепрезентативные группы <...>, не предполагающие объединения в какие-то реальные легитимные партии, но способные, тем не менее, активно влиять на политический процесс. <...> Мы в поиске конструктивных форм коллективности, но мы не желаем представлять ничьи интересы, даже свои собственные (ибо их еще только предстоит обнаружить)»⁵⁵.

Далее, отказ от репрезентации и, тем самым, от участия в коммуникации согласно установленным конвенциям, на мой взгляд, проявляется еще и в том, что флэш-моб — это способ высказывания, не требующий слов, более того, избегающий слов и заменяющий их перформативными акциями (что, как мы увидим далее, роднит флэш-моберов с «публичными художниками»). В самом деле, публичное пространство засорено словами — в нем не хватает действий, акций, перформансов. К тому же применительно к белорусским реалиям молчание является гораздо более безопасной стратегией публичного поведения, поскольку за каждое неосторожное слово можно заплатить (например, как только на несанкционированном митинге прозвучит хоть одно слово, обращенное к собравшимся, появляется повод для преследования организаторов). Другой вопрос, что принципиальный отказ от вербальной коммуникации (как друг с другом, так и с «публикой») порождает «эффekt Бангалора» — протеста в закрытом пространстве, как его недавно назвал Максим Жбанков⁵⁶, поскольку о правилах поведения и о смысле акции в целом знают лишь «посвященные» — те, кто принимает в ней участие, кто ознакомился заранее в интернете с мобправилами. Результатом такого акоммуникативного поведения является снижение эффективности всей акции

в целом: флэш-моберы делают вид, что они собрались случайно и что ничего не происходит, а «профанное большинство» (публика) не всегда в состоянии адекватно интерпретировать происходящее, поскольку не знакомо с кодами такой коммуникации «без слов»⁵⁷ и относится к увиденному как к курьезу.

Несмотря на то что феномен флэш-моба приобрел отчетливую белорусскую специфику (заявив о себе в качестве разновидности политического протеста), а, кроме того, воспринимается нами исключительно как продукт сетевой культуры, я думаю, что было бы неправильно забывать об «исторических» корнях — идеологии анархизма, партизанском движении и, конечно же, «публичном искусстве» и других формах современного концептуализма. И анархисты, и партизаны, и художники — все они являются «профессионалами свободы» (Ги Дебор).

Нежелание флэш-моберов становиться частью какого-либо долгосрочного и опознаваемого политического проекта (что можно было бы, наверное, обозначить как политику «невлипания») означает, что это движение действительно не ставит перед собой таких политических задач, как внедрение в органы представительной власти и воздействие на социум легитимными, общепринятыми политическими методами. Как и в случае с движением «Против всех партий!», здесь важен сам бунт — массовый аффектированный бунт без четко означенных целей и средств. Я, правда, не думаю, что в случае «белорусского ситуационизма» мы имеем дело с до конца проговоренной и осмысленной политической идеей — в духе, например, той, которую представляют Анатолий Осмоловский и его товарищи: сама программа сингулярного коллективного перформанса не оформлена в виде манифеста, да и «лидеров», способных эту идею сформулировать и озвучить, у этого движения по определению быть не может. Кроме того, наш «ситуационизм» является не столько результатом рефлексивного отношения к стратегии и тактике политической борьбы, сколько прямым порождением (в смысле, стихийным ответом) «ситуации», созданной властью, когда любой протест рассматривается как нелегитимное насилие, которое должно быть подавлено, когда легальные способы выражения своего мнения в рамках традиционных демократических институтов и форм не возможны.

Но именно по этой причине — ввиду невозможности выиграть бой по правилам в силу неравных условий борьбы — образ партизана, бойца невидимого фронта, презирующего общепринятые конвенции ведения войны, так дорог любому белорусу, а флэш-моберу — вдвойне. «Собраться в одном месте, идя десятью разными дорогами, нанести сильный удар, а затем снова рассеяться, сколь возможно быстро и бесшумно, чтобы атаковать в другом месте»⁵⁸ — эта цитата может в равной степени относиться как к действиям партизанов, так и участников флэш-мобов. Что характерно: партизанские действия настолько же удобны для слабой стороны, насколько и опасны для сильной, поскольку в партизанской войне враг превращается «в вирус, который одновременно смертелен и одновременно невидим. Это нецивилизо-

ванный враг. Вирус — это метафора для такого агента, которому не требуется поле боя»⁵⁹. Партизанские действия подтачивают силы противника исподтишка, он никогда не знает, где будет нанесен удар, и поэтому вынужден поддерживать боеготовность даже в глубоком тылу. Было бы, наверное, слишком самонадеянно рассчитывать на то, что белорусские флэш-моберы измотают «врага» своими непредсказуемыми действиями еще до того, как в борьбу включатся реальные политические противники, однако определенное сходство ситуаций налицо.



Как это ни странно, но в поиске аналогий между феноменом *Public Art* и действиями флэш-моберов нам также придется использовать дискурс войны. Многие публичные художники говорят о том, что один из наиболее эффективных маневров, позволяющих захватить публичное пространство, — это атака с флангов («wing attack»), которая должна сбить с толку «врага», уверенного в том, что его атакуют по центру. Например, в нашем случае ОМОН и другие подразделения, стоящие на страже порядка, ожидают лобового столкновения в центре города — на той же Октябрьской площади, тогда как активные действия по «захвату» городского пространства в это время осуществляются совершенно в других местах — в парках и скверах, на улицах спальных районов, во дворах многоэтажек, у памятников и т. д. «Публичный» художник, равно как и участник флэш-моба, не рассчитывает на понимание и содействие городских властей (но часто они в них и не нуждаются вовсе), отдавая себе отчет в том, что скорее всего разрешение получено не будет, но поскольку бюрократия ночью спит, то можно устраивать акции именно в это время суток, а кроме того, как считает Кшиштоф Водичко⁶⁰, нужно постоянно перемещаться, менять площадки для проектов, чтобы иметь возможность их реализовывать, избегая лобовой атаки с властями.

Далее, у *Public Art* должна быть публика⁶¹, не пассивные потребители «спектакля», а вовлеченные в коллективное действие субъекты, переживающие момент единения. Чтобы такую публику создать, необходимо задействовать различные способы адресации и продумать стратегию захвата транзитных мест — тех самых, где проходящая толпа может неожиданно превратиться в «публику». Именно здесь, как мне представляется, возникает возможность появления коллективного политического субъекта, даже если толпа организуется лишь на какое-то время: коллективные действия позволяют индивиду на психосоматическом уровне ощутить или во-образить политическую альтернативу. Но в этом смысле флэш-моберы со своей публикой работают недостаточно активно — их message обращен скорее к ау-



дитории СМИ, чем к непосредственно вовлеченной в «спектакль» публике.

Некоторые полагают, и не без оснований, что генеалогия политического флэш-моба в Беларуси ведет свой отсчет с акций, организованных студентами ЕГУ в августе 2004 года. Именно те акции протеста превратили феномен

флэш-моба в нечто большее, чем забава городской молодежи. Но, как мне представляется, флэш-мобу уготована недолговечная политическая карьера: его ситуативная политизация, произошедшая в Беларуси, с одной стороны, сделала этот феномен действительно популярной формой протеста, но, с другой — игровая, несерьезная, аполитичная «природа» делает двусмысленность в его интерпретации совершенно неизбежной.

Любая манифестация или забастовка с политическими требованиями всегда могут быть превращены в безобидное, по сути, карнавальное действие (с чебурашками, шариками, пилами, чучелами, чупачупсами и т. п.). И именно по этой причине данный термин вошел в лексикон БТ — телевидения, которое, как правило, «замечает» только позитивные, то есть осуществляемые во имя и от лица нынешней власти, акции БРСМ; все остальные флэш-мобы могут происходить только за пределами нашей страны. Например, в одной из новостных передач (в начале мая этого года) корреспондент БТ, рассказывая о протестах нелегальных эмигрантов в Америке, которые, выступая против нового иммиграционного законодательства, отказались выходить на работу и делать покупки в течение одного дня, назвала эту акцию «флэш-мобом» (редуцируя тем самым однодневный и действительно массовый протест к «моментальной» стихии локального флэш-моба), и это весьма показательно. Прежде всего, это означает, что в «политическом бессознательном» белорусской власти флэш-моб уже успел обрести статус политического протеста; более того, власть пытается его присвоить — не столько даже с целью привлечения на свою сторону молодежи (во всех этих официозных акциях лидерство принадлежит БРСМ), сколько для создания «картинки», необходимой для ведения пропагандистской войны на международной арене. От подобного «присвоения» сегодня невозможно застраховаться. В самом деле: серийное повторение одного и того же статичного кадра, многократного *déjà-vu* с выступлением пресс-секретаря МИД, озвучивающим очередной протест против вмешательства в дела Беларуси, является малоэффективной, а главное, не зрелищной (не соответствующей современной логике «медийных войн») формой реакции на действия западных СМИ и международных структур. Куда как выигрышнее смотрится какое-нибудь действие возле американского, или польского, или литовского, посольства (в других местах БРСМ свои акции не проводит), которое и интригу создает, и продуцирует эф-

фект гражданского общества. Собственно говоря, здесь режим оказывается жертвой собственной политики: если бы гражданское общество не было уничтожено, то властям не нужно было бы имитировать его существование — в любом нормальном обществе публичная сфера сама производит разнообразные реакции на происходящие события и в ней сосуществуют разные, зачастую антагонистичные политические дискурсы.

Что нас ждет дальше? Как долго флэш-мобы для белорусов будут оставаться основной формой политической активности, не только оттягивающей на себя внимание властей, но и позволяющей пассивному большинству вести привычный образ жизни по принципу «спектаклярного невмешательства»? История показывает, что «чисто культурный протест» везде имеет крайне ограниченный спектр действия (например, тот же 1968 год раскрыл «грандиозный потенциал именно культурного протеста, но за три-четыре года этот потенциал, вначале казавшийся колоссальной разрушительной силой, был полностью выработан»⁶²). В этом смысле действия флэш-моберов (так же, как художников и интеллектуалов) не должны рассматриваться как высшая и наиболее эффективная форма протеста в сложившихся условиях. Мы всего лишь должны сделать «свою работу» по формированию публичного дискурса. Речь должна идти скорее об исторической миссии такой формы протеста, о временной функции стихийного творчества «толпы» — с тем, чтобы постепенно протестное анархическое поведение приобрело формы консолидированного движения, осознающего свои политические задачи и готового к их реализации.⁶³

Стратегия и тактика партизанской войны в культурном и политическом пространстве Беларуси

Мы привыкли к сюрреалистичности происходящего вокруг — нас уже мало что может удивить. То, что для постороннего наблюдателя кажется вопиющим, немыслимым, убийственно нелепым, для большинства белорусов — всего лишь норма жизни. Наверное, только таким образом можно прокомментировать результаты президентских выборов да и сам ход избирательной кампании. Поскольку власть осуществляет свою легитимацию в высшей степени абсурдными действиями, постольку здравый смысл и рациональные объяснения тут совершенно не уместны. Сотни людей, попавших за решетку без «суда и следствия», по совершенно idiotским обвинениям, могут это подтвердить своими историями: как выяснилось, даже проход по площади с бубликом в кармане или же с «детективным романом» под авторством Аристотеля может быть чреват 15 сутками, не говоря уж о естественном желании защитить себя от пуль неизвестных бандитов, нападающих на твою машину. Но это совершенно не означает, что нам следует смириться с существующим положением вещей и сидеть сложа руки, пока «все это» само не пройдет, как дурной сон. Мартовские манифестации и митинги показали, что у многих белорусов есть воля к изменению, к участию в политической борьбе, пусть даже

и без иллюзий на скорую победу. Роль бунтарей-одиночек и небольших, казалось бы, обреченных на неудачу политических групп и движений имеет в исторической перспективе огромный смысл: пример личной борьбы помогает другим избавиться от страха и поверить в то, что солидарность, коллективизм, взаимопомощь не пустые слова.

В том, что произошло, есть и другая польза: ныне действующий режим, перейдя границы здравого смысла и установленных им же самим правил, тем самым обнажив свою сущность, сделал первый шаг к политическому самоубийству. Тридцать лет назад лидеры известного леворадикального движения РАФ (сформировавшегося в Германии в 1970-е гг. и вошедшего в историю лишь как террористическая организация, в то время как пафос их борьбы остался для многих непонятным) выдвинули лозунг: «Мы должны выманить фашизм наружу!». Ценой своих жизней и свободы им это удалось. Напомню, речь шла о том, чтобы сделать видимым развившийся в послевоенные годы в ФРГ «институциональный фашизм», создавший для себя целый арсенал средств подавления и готовый пустить его в ход при малейших признаках сопротивления. (Для нас сегодня это звучит очень актуально, не правда ли? В Германии, правда, проблема заключалась еще и в том, что не только государство, но общество были латентно фашистскими, однако в этом смысле все белорусское общество можно смело считать латентно коллаборационистским.) Реализация этой цели требовала «внести разрыв с Системой в повседневную жизнь»⁶⁴, необходимо было противопоставить политике уничтожения и подавления, проводившейся государством по отношению к меньшинству и оппозиции, практику систематического неподчинения.

Очевидно, для того чтобы выманить «фашизм наружу» и консолидировать всех тех, кто не желает подчиняться репрессивному режиму, сегодня могут применяться совершенно различные средства (не требующие ни человеческих жертв, ни применения оружия). Еще Мишель Фуко писал о том, что насколько множественными являются очаги власти, настолько же множественными должны быть и очаги сопротивления — именно эта мысль и должна овладеть массами в наших условиях. Как было показано выше, акции флэш-моберов вкупе с другими культурными и политическими инициативами решают именно эту задачу подрыва власти, компрометации Системы многочисленными атаками с флангов, что одновременно дает эффект консолидации и готовит почву для объединения самых разных социальных групп на поле политической борьбы. Партизанские действия, вспыхивающие то тут, то там, позволяют перехватить у власти инициативу и не отвечать на навязываемые ею вопросы (поскольку это означало бы подчинение и превращение в законопослушных «субъектов»), а формулировать свои собственные «запросы».

Итак, *необходимо создавать ситуации, а не запоздало реагировать на демарши со стороны власти*. Властный «беспредел» требует адекватного ответа, и в наших условиях таким ответом могут быть действия, подчиняющиеся лишь сюрреалистической логике, то есть воспринимаемые как абсурдные уже самой властью⁶⁵. (Вспоминается

один фильм — сага о независимой Польше, — где польское воинство выезжало на конях и ожесточенно рубило шашками... танки противника. Это выглядело абсурдно, но героически, и запомнилось надолго.) Иначе говоря, необходимо «изобретать политику» (в этом я совершенно согласна с Ольгой Шпарагой), но для этого нужны креатив, фантазия и чувство юмора. Необходимо запускать «утки» и сочинять анекдоты (ведь даже в сталинские времена, несмотря на жестокий террор, существовал обширный репертуар анекдотов и шуток, хотя за каждую из них можно было поплатиться свободой, если не жизнью⁶⁶). Необходимо реагировать на каждую глупость или лизоблюдство со стороны пишущих, пляшущих и поющих сторонников режима.⁶⁷ Необходимо создавать новые (альтернативные) репрезентации и бороться с дурным вкусом — прежде всего потому, что опора режима Лукашенко — это пресловутый *petit-bourgeois*, мелкий буржуа (человек, для которого существование Другого — это скандал, угрожающий его существованию, как писал Ролан Барт в *Мифологиях*), покупающий среднебелорусскую мебель, читающий *Советскую Белоруссию* и радостно потребляющий белорусскую же попсу. Если пока не удастся изменить политический *status quo* этой группы, необходимо хотя бы попробовать лишить ее образ жизни и ценности статуса доминирующей культурной нормы.

Хал Фостер, известный американский теоретик, подчеркивая значение культуры в современную эпоху, отмечает, что *homo significans* вытеснил *homo oeconomicus* на периферию социальной жизни.⁶⁸ Культурные коды репрезентации работают сегодня как «средства производства» (производства идентичности в первую очередь): например, дискриминация по признаку пола, расы или класса, прежде чем мы сталкиваемся с ней на рабочем месте, уже является частью нашего культурного «бэкграунда» благодаря масс-медиа и таким институтам, как детский сад или школа. Подчинение существующему порядку вещей, принятие его в качестве «нормы», осуществляется через культурные (они же — идеологические) институты. Потребляя культурные коды, мы воспроизводим систему. Соответственно, пафос моей статьи состоит в том, что, трансформируя эти коды, подрывая их, подменяя другими, мы сможем сформировать питательную среду для нового политического субъекта, который будет в состоянии изменить систему.

Выше я уже писала о том, что необходимость символической борьбы в сфере культуры обусловлена как особой ролью культурных репрезентаций в нашу эпоху, так и особенностями политической ситуации в нашем конкретном случае: когда сделать вроде бы ничего нельзя, но кое-что — все-таки можно. Если ничего нельзя сделать на площади или других открытых для широкой публики площадках — у нас остаются окна наших домов, салоны автомобилей (что и доказывает пример с водителем микроавтобуса, который ездил по улицам Минска с плакатом в окне «БТ лжет!»)⁶⁹ или же наша одежда (как способ манифестации не только культурной, но и политической идентичности), и прочие приватные микропространства, которые мы в со-

стоянии сделать публичными, если умело использовать разнообразные визуальные средства протеста. Немаловажно, чтобы все эти действия были срежиссированы как медиа-события – в присутствии журналистов, с фиксацией на камеру и с последующим попаданием в новости дня. Более того, я полагаю, что арсенал подобных средств следует заимствовать и у коммерческой рекламы, учитывая колоссальный опыт, связанный со способами манипуляции сообщением и риторической обработки его адресатов. Хорошая реклама в этом смысле всегда являлась искусством убеждения.⁷⁰

Спектр возможных контркультурных акций потенциально безграничен. Учитывая, что государственные СМИ свели до минимума возможность непосредственного волеизъявления (через прямой эфир), можно воспользоваться другими каналами, например FM, и в какой-нибудь передаче «Рабочий поддень» поздравить любимую тещу, заказав для нее песню «Слушай батьку»; вдобавок хорошо бы успеть сказать что-нибудь крамольное – так, чтобы фоновая и малоосмысленная болтовня ди-джеев, перемежаемая шедеврами 75%-го разгула белорусской попсы, неожиданно приобрела другой смысл и другое звучание. Подобным образом можно инициировать общественную кампанию по доведению процента присутствия в радиоэфире белорусской попсы (а равно и всего остального на белорусском рынке – от колбасы до трусов) до известных 83%. Пускай цифра 83 обретет сакральность и тотальность, можно даже поставить ей монумент в одном из центральных скверов... Словом, чтобы осуществлять политику культурной деконструкции, совершенно необходимо наличие множественных центров инициативы, но, кроме того, необходимо «диверсифицировать»



объекты воздействия: например, бороться стоило бы не с Лукашенко лично, а с его «защитным поясом», то есть с теми культурными нормами, на которых воспитывается лукашенковский электорат.

Помимо создания альтернативных репрезентаций, совершенно необходимо подвергать коррозии, подрывать изнутри, «расщеплять» существующие репрезентации, создаваемые властью. Иконокластия может и должна быть осмыслена как эффективное средство борьбы за культурное пространство, за отвоевание территории для политического инакомыслия. Не хочу ломиться в открытую дверь, поскольку, к счастью, мы уже имеем весьма удачные примеры подобной контррепрезентации. Я имею в виду проекты, порожденные сетевой культурой: «народное телевидение» на сайте *Третьего пути* (<http://multclub.org>), коллекцию карикатур на Лукашенко (www.svo-boden.org/ru/cartoons); проект «Лимоны» (<http://limony.org>); собрание «фотожаб» на белорусскую тематику (<http://belzhaba.com>) и др. Ироническая дистанция, позволяющая снизить пафос и обнажить

напыщенную абсурдность доминирующей идеологии, формируется за счет «паразитирования» на этом дискурсе, расщепления его изнутри, девалоризации используемых слов и образов, в результате чего заполонившая публичное пространство официальная культура становится не просто смешной, но в высшей степени нелепой. (Чего стоит один только лозунг «3А половозрелую Беларусь!», подкрепленный весьма убедительной картинкой на «Белжабе»!)

Что все это должно дать на выходе? Хочется верить, что власть можно переиграть с помощью интеллекта и чувства юмора (против лома должен быть прием!), что благодаря изобретению собственных «террорологик» наконец-то осуществится интеллектуализация политики, которой нам так не хватает, что появятся новые, альтернативные, культурные пространства и языки (для этого нужно делать их видимыми, а главное – интересными). Словом, нужно расчистить и отвоевать площадь в символическом смысле – площадь как олицетворение публичного пространства, которое не принадлежит никому и меньше всего – власти.

Примечания

- ¹ Пока я писала этот текст, меня не оставляла мысль, что он является логическим продолжением трех других, ранее опубликованных и на тот момент, как мне казалось, содержательно не связанных между собой статей. Пожалуй, единственное, что их могло тогда объединять, – это сам журнал *Топос*, в котором все они и были опубликованы. См.: *Общество спектакля в эпоху коммодифицированного марксизма* // *Топос*. 2001. № 4. С. 116–126; *Репрезентация как присвоение: к проблеме существования Другого в дискурсе* // *Топос*. 2001. № 4. С. 50–66; *Философия и позиция критического интеллектуала сегодня* // *Топос*. 2005. № 2 (10). С. 40–62.
- ² Здесь и далее я буду заключать *политику* в кавычки либо выделять курсивом, чтобы подчеркнуть проблематичность и множественность значений, подразумеваемых этим термином. То есть «политика» не рассматривается как нечто актуально существующее или само собой разумеющееся; скорее, наоборот: это термин, который, как пустое означившее, может отсылать к чему угодно. Здесь речь идет, в основном, о политике как о (философском) концепте, как его трактуют, например, Жак Рансьер и Аллен Бадью. К тому же, следуя мысли Аллена Бадью, было бы более корректно использовать этот термин во множественном числе.
- ³ Рассуждения о «харизме» Лукашенко или правильности его экономического курса как наиболее убедительных аргументах в пользу нынешнего режима оставим для белорусских СМИ.
- ⁴ Бадью А. *Можно ли мыслить политику? Краткий курс метаполитики*. М., 2005. С. 9.
- ⁵ Там же. С. 218.
- ⁶ *Демократия как политическая форма. Интервью с Жаком Рансьером* // № 1. *Зима*. 2003. Москва: «Ессе homo». С. 125.
- ⁷ Там же. С. 126.
- ⁸ См.: Маяцкий М. *Демократия как судьба* // *Логос*. 2004, № 2.
- ⁹ Там же.
- ¹⁰ Мартинович В. *«Мы – люди маленькие»* // *Белгазета*, 8 мая 2006 г.
- ¹¹ О «постдемократии», в частности, писал Жак Рансьер (*La Méseintente. Politique et Philosophie*. Paris, 1995), имея в виду, что демократия превратилась в «завершенную» демократию, в мертвую политическую форму, став официальной доктриной либерального государства.

- ¹² *Демократия как политическая форма. Интервью с Жаком Рансьером // № 1. Зима. 2003. С. 112.*
- ¹³ Анкерсмит Ф. *Репрезентативная демократия. Эстетический подход к конфликту и котролмиссу // Логос. 2004, № 2.*
- ¹⁴ Балибар Э. *Глобализация/Цивилизация – 2 // № 1. Зима. 2003. С. 113.*
- ¹⁵ См.: Gorg A. *Farewell to the Working Class*. Boston: South Ed Press, 1982.
- ¹⁶ О диагнозе непроявленной (я бы сказала, хронически не проявляемой белорусами) солидарности см.: Шпарага О. *Политическая топография Беларуси: солидарность, сообщества, университет // Топос. 2005, № 1 (10). С. 72–79.*
- ¹⁷ Именно поэтому перед выборами в Беларуси возникла необходимость в создании оппозиционной коалиции и выдвижении «единого» кандидата. Коалиционная политика представляет собой такую форму политической организации, которая позволяет обеспечивать определенное единство действий при сохранении внутренних различий между объединяющимися партиями. Солидарность, единство совершенно необходимы для успешных политических действий, но в то же время коалиционная политика не предполагает коллективной идентичности в качестве предпосылки успеха. Здесь речь может идти лишь о временных единствах в контексте конкретных действий. Более того, как считает американская исследовательница Джудит Батлер, коалиции нужно признать свои внутренние противоречия и научиться действовать, сохраняя их в неприкосновенности, ибо определенные формы фрагментации и раздробленности могут иметь позитивный эффект, позволяя избежать прямой конфронтации с властью, которая будет не в состоянии изолировать оппонента или воспрепятствовать его деятельности, поскольку в таком случае ей придется воевать на два (или более) фронта. (Более подробно об этом см.: Батлер Дж. *Гендерное беспокойство // В кн.: Антология гендерной теории*. Мн.: Профили, 2000. С. 316–317.)
- ¹⁸ *Демократия как политическая форма... С. 127.*
- ¹⁹ Осмоловский А. «Не с кем? Ни с кем! – Против всех <партий>!!!» // № 1. Зима. 2003. Москва: «Ессе homo». С. 177.
- ²⁰ Там же. С. 170.
- ²¹ По иронии судьбы, как раз когда я заканчивала работу над этой статьей, по российским телеканалам прошла новость (9 июня 2006 г.), что Дума собирается принять закон, в соответствии с которым статьи «Против всех» в бюллетенях новых избирательных кампаний больше не будет. Один из депутатов прокомментировал это решение как средство «облегчить» россиянам проблему выбора, а заодно избавить их от «детской болезни» под названием «Баба-яга против». Очевидно, что власть почувствовала опасность, исходящую от этой альтернативы, в условиях, когда электорат теряет доверие к своим «репрезентантам», и решила застраховаться от будущих неприятностей. Народ должен голосовать только «За»..., другого ему «не дано».
- ²² Осмоловский А. Цит. соч. С. 173.
- ²³ «Против» не то же самое, что «без», однако некоторые аналогии напрашиваются сами собой: по мнению Алена Бадью, сегодня актуальна «политика без партий» (Бадью А. Цит. соч. С. 203), и мы могли воочию убедиться, что такая политика востребована в Беларуси. Ведь не только лукашенковский электорат, привыкший к единоличному правлению своего избранника, но и те, кто вышел на Октябрьскую площадь, относятся к партийным объединениям и их стратегии политической борьбы с большим скепсисом. Для Лукашенко же любая сильная партия (пусть даже и партия власти) означала бы появление опасных сорняков на защищенном им политическом поле: ведь в этом случае пришлось бы либо делиться властью, либо, как минимум, играть по правилам.
- ²⁴ В основу готовящейся сейчас к публикации коллективной монографии *Белорусский FORMAT* легла мысль о том, что, по сути, вся современная белорусская культура является «невидимой» – за исключением той, которая «отформатирована» властью и которая заполнила собой все медийное пространство.

- 25 Jonson R. *What is cultural studies anyway?* In: Storey J., ed. *What is Cultural Studies?* Arnold, 1996. P. 76.
- 26 Jordan G., Weedon Ch. *Cultural Politics. Class, Gender, Race and the Postmodern World*. Blackwell, 1995. P. 5.
- 27 Кстати, неомарксисты были убеждены в том, что роль критически настроенных интеллектуалов повышается по мере того, как усложняются механизмы репрессии и доминирования в обществе, поскольку именно интеллектуалы берут на себя функцию разоблачения доминирующей идеологии и формирования стратегии культурного сопротивления власти.
- 28 Здесь я ссылаюсь на один из новостных репортажей, подготовленных БТ в дни мартовского противостояния: главным персонажем — якобы человеком из палаточного лагеря — стала молодая девушка с явными признаками синдрома Дауна, работающая дворником в одном из минских ЖЭС.
- 29 Бурдые П. *Социальное пространство и символическая власть* // В кн.: *Социология социального пространства*. СПб., 2005. С. 83.
- 30 Там же. С. 86.
- 31 Там же. С. 84.
- 32 Судя по государственным газетам и телевидению, на роль культурных героев нашего времени претендуют исключительно представители белорусской попсы. Они же «властители умов», если учесть, с какой частотой появляются на страницах газет интервью с ними по самым разным поводам.
- 33 Бурдые П. Цит. соч. С. 84.
- 34 Цит. по: Кефал А. *Ситуация — 1. Дебор и другие* // Дебор Ги. *Общество спектакля*. М., 2000. С. 176.
- 35 См.: Debord G. *A User's Guide to Détournement. Les Lèvres Nues. № 8* (May 1956); <http://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/usersguide.html>
- 36 Кефал А. Цит. соч. С. 180.
- 37 См., в частности, *A User's Guide to Détournement* (<http://www.cddc.vt.edu/sionline/presitu/usersguide.html>).
- 38 О которых лучше всего можно было бы сказать словами Кшиштофа Водичко: «Such beautification is uglification».
- 39 См.: Wodiczko K. *Strategies of Public Address: Which Media, Which Publics?* In: Foster Hal, ed. *Discussions in Contemporary Culture. Number one*. New York: The New Press, 1987. P. 41–45.
- 40 Бадью А. Цит. соч. С. 25.
- 41 *Круглый стол: «Против всех партий»*. *Социально-художественный аспект* // № 1. Зима. 2003. С. 171.
- 42 Там же.
- 43 Дебор Ги. *Общество спектакля*. М., 2000. С. 140.
- 44 *Круглый стол: «Против всех партий»...* С. 176.
- 45 Некоторое разнообразие в эту безрадостную картину нашей культурной жизни вносят лишь галереи «Nova» и отчасти «Подземка».
- 46 Усманова А. *Философия и позиция критического интеллектуала сегодня* // *Топос*. 2005, № 2 (10). С. 40.
- 47 В связи с этим чрезвычайно показательны высказывания Лукашенко по поводу протестного электората, произнесенные на встрече с Путиным 28 апреля с. г. в Питере. В ответ на вопрос Путина, удастся ли белорусскому президенту после выборов объединить различные политические силы вокруг решения основных проблем государства, Лукашенко ответил следующим образом (в печатной версии «СБ»): «Знаете, у нас нет такой проблемы <...>. За действующего президента проголосовало практически все население. В том числе и часть того электората, который должен был проголосовать за оппозицию. Поэтому если и консолидировать, то это еще одну-две тысячи человек, к сожалению, малолеток, которые пытались за деньги что-то дестабилизировать. Я не могу сказать, что они нам не важны. И две тысячи — это очень важно. Но если они будут иную позицию занимать, мы и без них обойдемся. Мы страну удержим в нужном направлении».

- Обращает на себя внимание количество несуразностей в этом высказывании: и заявление о том, что за него проголосовали те, кто должен был по идее голосовать за оппозицию (что это: косвенное признание фальсификации выборов?), и тезис о том, что оппозиция будет включена в политическую жизнь государства только при условии, что перестанет быть оппозицией (то есть если пойдет за Лукашенко), и главное – редуцирование оппозиционных сил до 1–2 тысяч малолеток (это как раз тот самый образ манифестантов на Октябрьской площади, который был «сконструирован» БТ). То, что на площади людей было гораздо больше, что там были далеко не малолетки и, тем более, что протестный электорат при всем желании не может быть редуцирован до одной тысячи – все это читается между строк его выступления, высвечивая противоречивость представленной картины.
- ⁴⁸ Демократия как политическая форма. Интервью с Жаком Рансьером // № 1. Зима. 2003. С. 128.
- ⁴⁹ Там же. С. 128–129.
- ⁵⁰ См.: Бенхабиб С. *Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру*. М., 2003.
- ⁵¹ Бурдье П. *Физическое и социальное пространства* // В кн.: *Социология социального пространства*. СПб.: Алетейя, 2005. С. 52, 57.
- ⁵² Батлер Дж. *Гендерное беспокойство* // В кн.: *Антология гендерной теории*. Мн.: Прописи, 2000. С. 301.
- ⁵³ Децентрализацию некоторые аналитики рассматривают также как эффект сетевой коммуникации.
- ⁵⁴ См. более подробно на эту тему: Бенхабиб С. *Притязания культуры*. М., 2003. С. 166–167.
- ⁵⁵ См.: *От редакции* // № 1. Зима. 2003. Москва: «Ессе homo». С. 4.
- ⁵⁶ См.: Жбанков М., Расинский А. *Флэш супрациў. Личные счета с реальностью*: <http://nmbu.org>, 15 мая 2006 г.
- ⁵⁷ Там же.
- ⁵⁸ Бродель Ф. *Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв.* Том 3: *Время мира*. М., 1992. с. 55.
- ⁵⁹ См.: Михель Д. *Мужчины, мальчики и поле боя* // *Гендерные исследования*. 2001, 6. С. 133–149.
- ⁶⁰ Wodiczko K. Op. cit. P. 48.
- ⁶¹ Rosler M. *On the Public Function of Art*, in Foster Hal, ed. *Discussions in Contemporary Culture. Number one*. New York: The New Press, 1987. P. 13.
- ⁶² См.: *Интервью журнала “№ 1” с Борисом Кагарлицким* // № 1. Зима. 2003. С. 49.
- ⁶³ Позволю себе привести достаточно обширную цитату из беседы Максима Жбанкова с Андреем Расинским, опубликованной недавно на сайте *Наше мнение*, поскольку, на мой взгляд, в ней идет речь о той же проблеме, хотя и в несколько ином ракурсе: «Сегодняшние флэш-мобы имеют достаточно узкое предназначение. Они важны как оформление социального недовольства, которое не может себя выразить, по понятным причинам, ни через официальные, властные каналы, ни – по столь же понятным причинам – через традиционные структуры оппозиционных партий и союзов. Это третья сила, которая возникает в качестве нового игрока на поле неравной битвы оппозиции и политической власти. И я бы предполагал здесь в перспективе определенную эволюцию. Либо коллективное движение начнет оформляться в некую стратегическую активность – и тогда потребуются структуры, либо активность погаснет, как гаснет костер, в который вовремя не подброшено топливо». (См.: Жбанков М., Расинский А. *Флэш супрациў. Личные счета с реальностью*: <http://nmbu.org>, 15 мая 2006 г.)
- ⁶⁴ См.: «Они хотят нас сломить». *Беседа с политзаключенными – бойцами Ротеев Фракцион (РАФ)* // № 1. Зима. 2003. С. 26, 31.
- ⁶⁵ Еще одна реплика Максима Жбанкова: «А вот в этом еще один аспект флэш-мобов: они демонстрируют изначальную абсурдность существующих властных рецептов решения проблем. Идут девочки со свечками возле “МакДональдса” – их

тормозит здоровенный омоновец, начинает переписывать у них паспортные данные, а потом долго думает: отдать им паспорта или нет. Налицо неадекватная, глупая – и в законе никак не прописанная – деятельность по пресечению... неизвестно чего». (См.: Жбанков М., Расинский А. Цит. статья: <http://nmbny.org>, 15 мая 2006 г.).

⁶⁶ Почему-то вспоминается анекдот 1940-х гг. про членов Академии наук, пытающихся пробиться в первые ряды собравшихся на Красной площади, чтобы первыми поцеловать тирана в заднее место.

⁶⁷ Например, журналисты, пишущие пасквильные материалы для государственных СМИ, обязаны знать, что прогибание перед властью не может остаться для них безнаказанным: их лица и имена должны быть известны людям, равно как и лица «ученых», создающих ореол легитимности действующей власти своими экзит-полами и прочими манипуляциями с общественным мнением. В конце концов, азаренки, козятки, прокоповы, новиковы и все остальные – живут среди нас, и необходимо создавать такие ситуации, в которых бытовым остракизм сделает их существование некомфортным. Как власть поступает с нами, так и мы должны поступать с «нею». Поэтому, например, кажущаяся, на первый взгляд, совершенно бесполезной попытка Анатолия Лебедько призвать к ответу Александра Зимовского через суд, в конечном счете, очень важна, поскольку лишает тех, кто имеет «право голоса», чувства безнаказанности и заставляет искать оправдание своим действиям, смотря глаза в глаза тем, кого они обливают грязью.

⁶⁸ Foster Hal Recodings. *Art, Spectacle. Cultural Politics*. Bay Press, 1985. С. 143.

⁶⁹ Еще один похожий пример: жительница Минска Оксана Новикова вывесила в окне своего дома в частном секторе плакат с надписью «Свободу политзаключенным!» Поскольку дом стоит на возвышенности, то плакат был хорошо виден не только соседям, но и покупателям местного магазина.

⁷⁰ Приведу пример из истории кино: когда в 1924 году в Советской России началась демонстрация американского фильма *Багдадский вор*, то возле кинотеатров творилось нечто невообразимое. Причиной тому стала агрессивная рекламная кампания, которую начали проводить примерно за месяц до премьеры. В течение двух недель в квартирах ежедневно раздавались телефонные звонки, и неизвестный голос произносил всего два слова: «Багдадский вор». Те же два слова вскоре появились на стенах зданий, на тротуарах оживленных улиц, в салонах трамваев и даже на оберточной бумаге, в которую продавцы заворачивали колбасу и другие продукты... (См.: Лебина Н. Б., Чистяков А. Н. *Обыватель и реформы. Картины повседневной жизни горожан*. СПб.: «Дмитрий Буланин», 2003. С. 139.) Нечто похожее попытались осуществить организаторы акции «Достал!», используя для растяжек, граффити и наклеек самые разные поверхности.